



В. М. ГАРШИН

Петербургские письма

I

Я не был в Петербурге почти три года. Странное волнение охватило меня, когда поезд, перейдя Обводный канал, стал идти тише и тише, когда замелькали красные и зеленые фонари, когда под сводом дебаркадера гулко заревел свисток. Я не петербуржец по рождению, но жил в Петербурге с раннего детства, свыкся с ним, узнал его; южанин родом, я полюбил бедную петербургскую природу, белые весенние ночи, которые — к слову сказать — ничем не хуже наших пресловутых украинских ночей, полюбил непрерывную сутолоку на улицах, бесконечные ряды домов-дворцов, чистоту города, прекрасные городские сады, Неву... Полюбил я петербургскую жизнь, ту самую, о которой собираюсь писать теперь на родину физическую с родины духовной. Вот это-то последнее, что Петербург есть духовная родина моя, да и всякого, прожившего в нем детство и юность, заставляет, когда подъезжаешь к городу, волноваться, и волнение это не меньше того, что испытывает юноша... при свидании, хотел я сказать, да нашел более сильное сравнение: когда вынимаешь на экзамене билет, решающий, быть или не быть за перегородкой, отделяющей сытых от голодных и полуголодных.

Да, этот болотный, немецкий, чухонский, бюрократический, крамольнический, чужой город, этот «лишний административный центр», как выразился недавно некий мудрый провинциальный певец, приглашаемый на здешнюю сцену и отказавшийся, по его словам, «из принципа», — этот город, прославленный будто бы бессердечностью своих жителей, формализмом и мертвечиной, а по моему скромному мнению — единственный русский город, способный быть настоящей духовною родиною. За внешней сухостью скрывается настоящая умственная жизнь, насколько

ко такая может существовать у нас, в России. Пусть Петербург далек от России (все обвинения московских звонарей главным образом основываются на этой мысли), пусть Петербург часто ошибается, говорит о том, что плохо знает, но он все-таки думает и говорит. Не в Москве фокус русской жизни или того общего, что есть в этой жизни, а в Петербурге. Дурное и хорошее собирается в него отовсюду, и — дерзкие скажу слова! — не иной город, а именно Петербург есть наиболее резкий представитель жизни русского народа, не считая, конечно, за русский народ только подмосковных кацапов, а расширяя это понятие и на хохла, и на белоруса, и на жителя Новороссии, и на сибиряка и т. д., и т. д.

Привыкли говорить у нас в том смысле, что-де Москва — естественное произведение русской жизни, а Петербург — искусственное насаждение и искусственно питаемое растение, что Москва России нужна, а Петербургу нужна Россия¹, что Петербург — паразит, выросший на счет народного пота... что, когда вся Россия страдает, Петербург наслаждается, резонерствует, и больше ничего.

Ах, милостивые государи! Придите сюда, в этот наслаждающийся и равнодушный город, и поживите здесь зиму, и если у вас есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, вы на себе почувствуете эту, может быть, и непонятную, но реальную и могучую связь между страной и ее настоящею, невыдуманную столицей! Вы увидите, что удары, по всему лицу русской земли, наносимые человеческому достоинству, отзываются, и больно отзываются, здесь. Я не буду говорить о том, в чьих и каких сердцах они отзываются... Везде есть всякие люди... Но все-таки болеет и радуется (когда есть чему) за всю Россию один только Петербург.

Поэтому-то и жить в нем трудно. На улицах благоустройство, порядок; городские вежливы, увеселений много, материальные трудности жизни не больше, чем в других городах. Смертность, вопреки установившемуся предрассудку, не бóльшая, чем везде в России, (в Петербурге 37, в Москве 36, в Орле что-то около 60 на тысячу), дает прямое указание, что Петербург не особенно страдает. У немцев смертность меньше, но гнилые немцы, нам, конечно, не указ. Не знаю, как полагают на этот счет московские патриоты, а я так готов предположить, что слишком малая смертность показывает трусость и страх смерти: доблестный славянин вряд ли унижится до забот о том, чтобы довести смертность в своей стране до 17 на тысячу, как какой-нибудь голоногий шотландец или селедочник-датчанин. Поэтому я сравниваю Пе-

тербург только с русскими городами. А по сравнению с ними он еще, слава Богу, ничего. Но жить в нем труднее, чем где-нибудь, не по внешним условиям жизни, а по тому нравственному состоянию, которое охватывает всякого думающего человека, попавшего в этот большой город. Здесь, в Маркизовой луже (так прозвали Невскую бухту Финского залива во времена морского министра маркиза де Траверсе, который за свое долголетнее управление нашим флотом в александровские времена, как говорят, ни разу не вывел его из этой бухты), живешь, кажется, вдали и от Старобельска, и от Вилюйска, а принимаешь, невольно принимаешь, и старобельские, и вилюйские интересы так близко к сердцу, как вряд ли принимают их сами жители этих богоспасаемых городов. Я не в состоянии ясно показать, в чем и как проявляется эта связь, но она есть. И для фельетониста, пишущего петербургские письма, нелегко ограничиться чисто местными интересами: начнешь писать, положим, как прекрасно играет военный оркестр в Летнем саду при электрическом освещении и какие большие деньги берет г. Балашов, буфетчик этого сада, за бифштексы, а незаметно перейдешь и на юг и на запад, посетивши Кавказ, и, чего доброго, поинтересуешься познакомиться и с «более отдаленными местами» востока и «тундрами» севера.

Поэтому заранее прошу извинения, если в моих письмах читатель найдет иногда разговоры, мало относящиеся к столице, если мне в письмах в Харькове придется говорить иногда даже о самом Харькове. Обещаю стараться, чтобы этого постороннего элемента было поменьше, и так как вступительною болтовнею я занял чуть ли не половину письма, то ставлю черточку.

Летний сезон уже наступил. Петербург опустел почти до своей летней нормы. Численно, правда, население города почти не уменьшилось, если только не увеличилось, несмотря на то, что поезда, отъезжающие в Москву, за границу и в Финляндию, битком набиты пассажирами. Взамен этих счастливых людей, имеющих возможность «отдохнуть» летом на лоне русской или немецкой природы, обратные поезда и барки, проходящие сверху по Неве, привозят целые полки рабочих. За лето нужно подновить, почистить город, выстроить несколько десятков новых домов, навести на судах зимний запас дров, сена, хлеба. Нет улицы, по которой можно было бы проехать, не встретив препятствий в виде разломанной мостовой, ямы, разрытой для исправления водяной или газовой трубы, забора, отгораживающего новое сооружение

или старый, надстраивающийся на один или два этажа, дом. Жара и пыль — ничтожные сравнительно с харьковскими — конечно, заставляют и тех обывателей, которые не могут покинуть город на все лето, искать спасения на дачах. Сообщения (пароходы, конно-железные и паровые дороги) настолько удобны и дешевы, что здешнему чиновнику или конторщику ничего не стоит ездить каждое утро в город, а «после должности» возвращаться к семье и природе за какие-нибудь 15, 20, даже 30 верст, чтобы остальное время дня провести в гулянье по сосновому лесу или березовой роще, а то и просто по недавно дренажированному болотцу; в ужение рыбы (посмотрите в летние №№ сатирических изданий: чуть ли не третья часть карикатур направлена против этой несчастной и невинной страстишки) — рыбы, никогда не попадающей на удочку; в охоте на умудренных опытом ингерманландских уток, рябчиков и глухарей, считающих позором быть подстреленными охотником-дилетантом. Иные отцы семейств избирают более благую часть: проводят летние вечера, как проводили и зимние, садясь за зеленый столик в 8—10 часов вечера и «винтя» до солнечного восхода. Прибавьте к этому увеселения, рассеянные летом вокруг Петербурга: вокзалы, летние театры, оркестры музыки на открытом воздухе и пиво, пиво и пиво — вот и весь фон дачной жизни петербургской семьи средней руки. На этом фоне разыгрываются всевозможные дачные события. Завязываются знакомства, начинаются романы, развиваются драмы. Но все это делается как-то особенно, «не всерьез, а по-дачному», как удалось мне недавно услышать.

Для этого мирного жития необходимы, само собой разумеется, хлеб, мясо, свечи, дрова и прочие продукты. Десятки тысяч семейств переселяются из города в окрестности, всем им надо есть и пить, петербургские же хозяйки привыкли вести свое хозяйство без хлопот. Из сотни хозяек вряд ли одна делает какие-нибудь запасы по-провинциальному, остальные пользуются услугами мелочной лавки, удивительнейшего учреждения, в котором нельзя достать только сырого мяса и материй, а все остальное, нужное в домашней жизни, есть всегда и в достаточном количестве. Мелочная лавка перебралась и за город и торгует там в летние месяцы очень бойко. Кроме нее, к услугам потребителей существует еще целая армия всевозможных разносчиков, преимущественно ярославцев; они носят по дачам и вежливо предлагают «вашему сиятельству» и «вашему превосходительству» говядину, рыбу, раков, зелень, хлеб, пирожные, мороженое, цветы в горшках, корзины и легкую мебель, шторы и багеты для картин, проволочные изделия, посуду, письменные принадлеж-

ности, даже книги — и те разносятся ярославцами и даются на прочтение скучающим дачницам по гривеннику за том. Походный парикмахер ездит в тележке; походный фотограф разъезжает в целом фургоне: там у него лаборатория, а павильон, конечно, на воздухе.

Дачная жизнь выработала совершенно особые типы. Покойный Куцевский², долго живший в Петербурге и хорошо его знавший, набросал уже много лет тому назад целый ряд талантливых очерков этих типов; желающих познакомиться с ними отсылаю к нему. Но не могу не отметить одной довольно часто встречающейся разновидности петербургского жителя. Это человек большею частью молодой, с приличной физиономией и франтовато одетый. Где он живет летом — неизвестно; чиновник в адресном столе на справку отвечает, что «Иван Иванович выбыл в Херсонскую губернию». Но Иван Иванович в Херсонской губернии никогда не бывал и вряд ли бывал где-нибудь за Павловском или Петергофом. Иван Иванович состоит на службе, в чем заключаются его служебные обязанности — не знает никто из его знакомых, но он служит и получает рублей 40—50 в месяц. И то сказать, здесь, в Питере, есть удивительные места... * Как бы то ни было, сорока или пятидесяти рублей в месяц Ивану Ивановичу не хватает: ему нужны фрак, цилиндр, лакированные сапоги, тонкое белье, — видимое миру, конечно — перчатки. Комнату (в городе зимою) он нанимает маленькую и скверную; ест, благодаря бесчисленным знакомствам, хорошо. Пятнадцать знакомых семейств — вот и все, что ему нужно; можно обедать в каждом *только* раз в две недели, что и выгодно и прилично. Но наступают лето, всякая тварь радуется и стремится в зелень, на воздух; почему же не стремиться и Ивану Ивановичу? И вот он, узнав адреса всех знакомых, начинает свой летний тур. Едет в Лесной, к действительному статскому советнику Дыбе, и в его милом семействе — он принят в нем как родной — проводит недельку. Затем «дела» призывают его в Петербург; потолкавшись в городе полдня, он стремится в Ораниенбаум, к тайному советнику Стрекозе. Стрекоза, хотя и презирает его, по русскому хлебосольству не гонит, а кормит дней 5 или 6. Дочь Стрекозы³, томная девица лет 30, говорит с ним о чувствах и литературе (Иван Иванович и это может), компаньонка-француженка, шутя, учит его болтать по-французски; время проходит весьма приятно. Но Иван

* Например, место *кума в Воспитательном доме*. «Кум», по слухам, получает за каждого крестника пятак и рюмку водки. Впрочем, это, может быть, «одна беллетристика»; наверное не знаю.

Иванович донельзя деликатен; деликатность — основная черта его характера. Он помнит, что его ждут (уввы! — ждут, ибо знают, что от Ивана Ивановича нет спасенья) и живущий на даче в ожидании кассации, а затем отдаленного вояжа интендантский полковник Загреби, и почтенный старец, недавно вернувшийся из такого же вояжа и живущий на покое, бывший коммерции советник Поташилов, и семейство знакомого протоиерея, отправившего своих чад и домочадцев в Новосаратовскую немецкую колонию; и товарищ его, Ивана Ивановича, по гимназии, художник, живущий в Лигове «на этюдах», питающийся колбасою, пивом, табаком и запахом хвойного леса и масляных красок. Иван Иванович, как мотылек, перелетающий с одного цветка на другой, перелетает по конно-железным и паровым путям, на пароходах, а то и на своих двоих, с дачи на дачу; говорит за двоих, ест за троих, любезничает с дамами и благополучно доживает лето, тратя свои скудные гроши только на приобретение билетов на проезд. Даже сигары (у Загреби) и папиросы (у художника) он курит не свои, а хозяйские, вознаграждая за сигары рассказом о том, как он однажды выкурил у такого-то сигару в полтора рубля штука, и за папиросы — набиванием их в пользу хозяина. И так живет Иван Иванович из года в год, пока не появится лысинка и брюшко и какими-то чудными и неведомыми путями не оттопырится боковой карман.

— Милостивый государь, — скажет мне читатель, — странно мне это: начали вы с таких, можно сказать, благородных слов, сбежали показать Петербург страдающий и мыслящий, а вместо того говорите о дачах и об Иване Ивановиче, старом, заношенном еще в пятидесятых годах типе! Где же тут мысль, где страданье?

О, конечно, конечно, читатель! Иван Иванович вовсе не страдает. И стыдно мне было бы ограничиться одним Иваном Ивановичем, но дело в том, что мыслящий Петербург весь уже уехал. Дело летнее. А вообще-то ведь не Иваны Ивановичи и кумовья Воспитательного дома делают нравственную физиономию города.

О моем же дачелюбивом приятеле я вспомнил потому, что он знает всех и все. Надеюсь попасть с ним и к Стрекозе, и к Дыбе, и к Загреби, и ко всем прочим; а что я там увижу — сообщу через две недели.

II

Иван Иванович обманул меня: обещал зайти за мною и повезти в Петергоф к каким-то своим знакомым, не пришел. Сижу один и скучаю.

Лето, жара и тоска. Хочется уйти куда-нибудь, подальше от камня, в зелень, в какое-нибудь тихое место, куда не доходит шум города, где нет толпы. Трудно найти такое уединенное местечко: сады битком набиты гуляющими, дачные места тоже. Пойду на кладбище. Если скучно среди живых, то куда же деваться, как не к мертвым? Говорить с ними, то есть читать их книги, я устал, пойду посмотреть, где они лежат.

Мертвый Петербург больше живого. Не говоря уже о том, что каждая пядь земли города при Петре Великом, когда рабочие, случалось, целое лето питались только репой, стоила человеческой жизни, обычный покос смерти давным-давно населил и переполнил городские кладбища. Начали устраивать загородные, по линии железных дорог. Целые похоронные поезда отходят ежедневно из Петербурга, увозя десятки гробов, иные наставлены кучей в одном вагоне, другие занимают отдельные вагоны, торжественно красуясь на траурных катафалках. Свистит машина, трогается поезд с мертвым грузом, а навстречу ему подходят к городу поезда с живыми, с новым запасом народа, из которых многие и многие поедут назад только до первой станции — Преображенского или Удельного кладбища. Здравствуйтесь, живые; прощайтесь, мертвые!

Не закрылись еще и городские кладбища: Смоленское, Митрофаниевское, Волково и несколько других, меньших и большею частью привилегированных. Правда, жильцы⁴ их давно уже лежат друг на друге, и нельзя вырыть могилы, чтобы не наткнуться на полусгнивший, а то и новый гроб. Но петербуржцы больше любят эти старые, тесные, несмотря на свою огромность, мертвые города, чем их новые колонии. Ничего, если придется потревожить соседа; его двинут к сторонке, а рядом с ним ляжет новый жилец. Летом и зимою на кладбище хорошо. Оно представляет собою сплошной сад: ольха, береза, бузина отлично растут на жирной почве, кладбища — самые тенистые сады в городе. Могилки разделены дорожками с деревянными мостками, сбоку надписи с обозначением разрядов от I до VI и названиями мостков. Точно улицы в живом городе. На Волковом кладбище, где я был сегодня, есть мостки цыганские, немецкие, духовные, есть и литераторские.

К кладбищу ведет длинная Расстанная улица. Небольшие дома по большей части заняты монументальными мастерскими, готовые мраморные и гранитные памятники глядят из окон; на них приготовлены места для надписей, а самих надписей еще нет; смерть напишет их сегодня или завтра. В заборах — лавочки для продажи цветов и венков из мха и иммортелей; все забо-

ры увешаны ими. Одна-две кухмистерские с большими залами для поминания усопших. Кладбищенская богадельня; ветхие старухи поглядывают из сада на прохожих, идущих к кладбищу и от него, ожидая, когда и им придется отправиться туда же на покой. Два дома причта кладбищенской церкви на конце улицы, у самой площадки перед воротами. Густая зелень закрывает кладбище; церковь, маленькая, старинная, едва виднеется из нее. Недавно поставили в сторонке другую, бóльшую. Старый сторож сидит на лавочке с трубкой и поплевывает на мостовую. За воротами небольшой навес с прилавком, там сидит старушка из богадельни и принимает пожертвования.

В церкви почти всегда несколько гробов: запах ладана смешивается с тяжелым запахом покойника; кафельный дым плавает облаком, слышно торопливое чтение и пение. Уйдем отсюда подальше, туда, в третий и четвертый разряды, где памятники проще, где «дешевого резца нелепые затеи» уступают место простым плитам и деревянным крестам. Крайняя левая дорожка и есть «литераторские» мостки. Подходишь к месту, где легли лучшие русские люди, и невольно сжимается сердце. Вспоминаете прелестное описание Вашингтона Ирвинга «Уголка поэтов» в Вестминстерском аббатстве — кладбище величайших людей величайшей страны. Мы не заботимся о наших великих мертвых, как заботятся англичане. Мы не заботимся о них и при жизни. Мы умели только брать от них, ничего не давая взамен.

Но «Poets Corner» (собственно, уголок не поэтов, а публицистов) очень невелик. Лежит здесь Белинский рядом со своим другом Кульчицким (могила которого исчезла и на месте которого похоронили, несколько лет тому назад, с большим скандалом, студента Чернышева), рядом с Белинским могила Добролюбова, через дорожку Писарев. В стороне — Афанасьев-Чужбинский⁵, теперь уже почти забытый, но в свое время известный и трудолюбивый исследователь юга России и романист. Умирая, он просил, чтобы его положили поближе к Белинскому и Добролюбову, и друзья исполнили его желание. Они лежат вместе на пространстве трех-четырёх квадратных сажен, окруженные бесчисленною толпою темных имен, написанных на мраморе, граните, плите и дереве. Толпа, которую они любили и учили и которая задушила их, не оставила их и после смерти, стеснила и сдавила их маленький уголок так, что новому другу уже негде будет лечь...

Над Белинским черный высокий памятник из гранита с таким же крестом и простою надписью: «Виссарион Григорьевич Белинский, 26 мая 1848 г.» Добролюбов лежит под тяжелым

черным саркофагом без всякого украшения и символа, только имя, годы рождения и смерти. У Писарева маленький белый крест на черном основании. Друзья Чужбинского поставили ему большой белый мраморный памятник. Деревянные решетки, отделяющие соседние «семейные места», исписаны карандашом. Тут и стихи, но не собственного сочинения, а большею частью из Некрасова, тут и наивная проза с выражением любви и горя. «Все, кого ты учил, помнят тебя». «Неужели ты забыт?»

...Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

Таковы надписи над могилой Писарева. У Белинского кто-то написал строчку из молодого поэта:

Учитель, где ты? Приди и научи!⁶

Этот страстный вопль, эта жалоба на смерть, унесшую учителя, — единственная надпись над могилой Белинского. Забыли его. На черном граните памятника нет ни одного венка...

А вокруг — неутешная купчиха 2-й гильдии пишет на памятнике мужа о том, что «все тлен и прах, и мы все по тебе в слезах»; вдовец жалуется, что жена его умерла, оставив семь человек детей, «воздвоенных от сосцов ея»; надворный советник и орден св. Владимира 4-й степени кавалер лежит под мавзолеем, украшенным факелами с каменным пламенем и дубовыми длинными стихами; на деревянном кресте написано — страшно сказать! — семь детских имен и выставлен возраст детей — от трех месяцев до года и четырех месяцев... Сильно мрут петербургские дети...

Однажды я попал на кладбище в «родительскую» субботу. Несмотря на строгое запрещение, поминающие все-таки ухитряются пронести водку в самоварах и чайниках. Тысячи сидят на могилках, пьют и едят. Поминание кончается пьянством и скандалом. Городовые, дворники, участок, протокол... Закрывать глаза и бежать. Но теперь все тихо, пусто и спокойно, только могильщики ходят с лопатами да каменщики обтесывают новые памятники и высекают имена и льстивые надписи. Стук молота, негромкая песенка работника о том, что

А в деревне не хватало
Двадцати пяти рублей...

пение, доносящееся из церкви, да далекий неумолчный шум живого миллионного населения города — вот и все звуки. Изредка налетит ветер, зашумит в ветках деревьев, и снова все тихо...

Уйдем отсюда. Оставим мертвым, вернемся к живым. Не ехать ли нам, читатель, в Петергоф? Там сегодня пущены фонтаны, парк битком набит гуляющими, играют три оркестра.

Пароход, отходящий от Английской набережной, до того полон пассажиров, что многие из них должны стоять всю дорогу на ногах. Пестрая, разнокалиберная толпа. Русский язык почти не слышен среди других: немцы, шведы, англичане говорят по-своему, а большинство русской публики, первоклассной, конечно, трещит, с грехом пополам, по-французски. Петергофские дачники принадлежат большею частью к очень состоятельному классу; часть бомонда, не уехавшая за границу по случаю цены полумпериаала в 8 р. 20 к., тоже ютится в Петергофе или Павловске. Это очень людные места.

Пароход быстро проходит невское устье; по берегам возвышаются верфи и магазины. Вот огромная корма «Владимира Мономаха» нависла над водой из-под крыши эллинга; военные суда, живые и мертвые, назначенные к сломке, занимают левый берег; нить миноносок тянется чуть ли не на полверсты. Дальше начало морского канала, который к осени, говорят, начнет уже действовать, проводя прямо в Петербург самые большие суда, так как глубина его — 28 футов. Вдруг берега расширяются, уходят вправо и влево, синея возвышенностями и лесами. Маркизова лужа спокойна: черные и белые бакены оформляют фарватер, а по сторонам его желтеют песчаные мели. В самом узком и мелком месте фарватера, верстах в 8 от устья Невы, шведский пароход плотно уселся на мель и бурлит винтом, тщетно пытаясь сдвинуться с места; буксирный пароход так же напрасно старается стянуть его. Тут мы идем тихим ходом, осторожно обходя потерпевшего шведа.

Впереди, сквозь легкую мглу, какая часто бывает на море, когда солнце светит слишком ярко, видна узкая полоска, иззубренная шпицами церквей и мачтами судов. Это Кронштадт: пятна справа и слева — его грозные форты. Направо финляндский берег уходит в туман волнистою линиею, налево берег Стрельны и Петергофа, весь заросший парками и садами. Сзади широкая картина уходящего Петербурга: отдельных зданий уже почти нельзя рассмотреть, только купол Исаакия нестерпимо горит золотой звездой.

Петергофская пристань состоит из длинного деревянного помоста, вытянутого от берега почти на полверсты. У самого ее начала — вход в знаменитый парк; около ресторанчики, где гремит музыка. Пройдя мимо него, вступаешь в царство петербургской старины.

Здесь все старо, солидно и прочно. Стар самый парк, множество деревьев которого посажены самим Петром Великим; старые фонтаны, однажды навсегда устроенные так, что почти не требуют починки; старый дворец глядит сквозь брызги Сампсона и множества других водометов на знаменитый канал, ведущий к морю и выкопанный в одну ночь. Толпа, наполняющая сад и теснящаяся особенно около Монплезира (недалеко от него играют два оркестра военной музыки), совсем не подходит к этим важным и чинным местам, хотелось бы видеть фижмы, пудру, французские кафтаны, шелковые чулки и шпаги. Одни только придворные лакеи в кургузых фраках с галунами, в красных жилетах, коротких штанах и шоколадного цвета штиблетах, напоминают прошлое. Они стоят у дверей Монплезира — и кажется, вот-вот отворятся эти старые двери, и выйдет матушка-царица с кем-нибудь из своих орлов. Но лакей стоит только для красоты да еще для того, чтобы взимать двугривенные с желающих посмотреть любимое местечко Петра и Екатерины. Монплезир — низкое кирпичное здание, очень простой и красивой постройки в голландском вкусе XVII века: в нем одна только большая зала и несколько маленьких комнат; по сторонам две длинные галереи с большими окнами. Кто из читателей видел картину Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея»⁷ или копию с нее, тот имеет полное понятие о большой зале: г. Ге писал ее с натуры и не упустил ни малейшей подробности. Входишь в залу, и как-то странно кажется, что посреди не стоит большой стол, за столом не сидит грозный судья-отец и против него нет смущенного, дрожащего сына.

Перед Монплезиром терраса, выходящая прямо на море и обнесенная белой баллюстрадой. Это лучшее местечко в Петергофе; недаром его любили все его хозяева. Отсюда видны и Петергоф, и Кронштадт; сотни судов снуют вдали взад и вперед по фарватеру... Море ленивыми волнами разбивается о прибрежные валуны. Просидел бы здесь не один час, если бы не толпа, не вечные, надоевшие разговоры.

Десять часов. Пора и на пароход. Покойной ночи.

